

1
МЕРА БЕДНОСТИ

Хотите понять, насколько бедным было у человека детство, спросите его, сколько окон имелось у них в доме. Не еды в холодильнике, не вещей в шкафу, все это обманчиво. Мера бедности — окна. Да-да, именно окна. Чем их меньше (если они есть вообще), тем семья беднее.

Как-то знакомая попыталась мне возразить. «Ну а, например, — предположила она, — если окно в доме одно, но огромное, с видом на сад? Знаешь, такое широкое и нарядное? Какая же это бедная семья?»

На мой взгляд, так может говорить только тот, кто даже не представляет себе, что такое бедность. Вид на сад? Широкое нарядное окно? Да откуда там быть саду? И как это — нарядное окно?

В мире бедности даже понятий «широкое окно» или «вид из окна» не существует. В нем окно — это мутное стекло, заставленное покоробившимися фанерными полками. Неизвестно даже, открывается ли оно. Это грязный прямоугольник рядом с засаленной вытяжкой, которую, скорее всего, тоже никогда не включали.

Вы понимаете, что такое бедность, и вправе рассуждать о ней, только если сами через нее прошли. Если вы бедны. Или были бедны. Я подхожу под обе категории. Я родилась и выросла в бедности. И продолжаю в ней жить.

Что навело меня на такие мысли? Наверное, девочка напротив. Несмотря на то что у школьников наступили летние каникулы, линия Яманотэ выглядела странно

свободной. Все пассажиры сидели уткнувшись кто в телефон, кто — в книжку.

Девочке можно было дать лет восемь, а можно и все десять. Слева от нее сидел парень со спортивной сумкой у ног, а справа — две девушки с большими черными бантами в волосах. Девочка, по-видимому, ехала одна.

Она была совсем худенькая. На загорелой коже бросались в глаза белые пятна витилиго. Серые шорты, бирюзовый топ на бретельках, ноги такие же тощие, как руки. Стиснутые губы, напряженные плечи — точь-в-точь я в детстве. Тогда-то у меня в голове и всплыло слово «бедность».

Я не сводила глаз с ее растянутого топа и кроссовок, когда-то, видимо, белых. Что, если сейчас она откроет рот и я увижу там гнилые зубы? Я заметила, что с собой у нее ничего нет. Ни рюкзака, ни сумочки, ни клатча. Билет и деньги у нее, наверное, в карманах. Не знаю, может, у девочек этого возраста теперь модно ездить в поезде налегке, но меня это немного встревожило.

Захотелось встать, подойти к ней и заговорить — неважно о чем. Обменяться парой слов, будто поставить для себя маленькую, никому больше не понятную пометку на полях ежедневника. Но о чем мне с ней говорить? Ну... например, о ее черных волосах — даже со стороны видно, какие они жесткие. О них мне определенно есть что сказать. Они даже от ветра не разлетаются, я знаю. Витилиго пройдет, когда подрастешь, так что не обращай внимания. Или все-таки заговорить об окнах? У нас дома окон не было — по крайней мере, таких, из которых хоть что-то было видно. А у тебя есть?

Я глянула на часы. Ровно двенадцать. Поезд рассекал неподвижный знойный воздух. «Следующая станция — Канда», — сообщил приглушенный голос из динамиков. На станции двери вагона со вздохом открылись и внутрь ввалился пьяный старик. Еще только полдень, а он уже едва держится на ногах. Пассажиры тут же расступились. Старик издал протяжный стон. Борода с проседью, растрепанная,

как металлическая мочалка, закрывала пуговицы заношенной рабочей куртки. В одной руке он сжимал замызганный пластиковый пакет, а другой попытался ухватиться за поручень, но пошатнулся, потеряв равновесие. Двери закрылись, электричка двинулась дальше. И только тогда я заметила, что девочки передо мной уже нет.

Едва выйдя из электрички на Токийском вокзале и миновав турникеты, я замерла при виде толпы. Откуда взялись эти люди? Куда направляются? Казалось, все они участвуют в каком-то странном спортивном соревновании, и только я одна не знаю его правил. Мне стало не по себе. Стиснув ручки сумки, я медленно выдохнула.

Первый раз я попала на Токийский вокзал десять лет тому назад. Мне тогда едва исполнилось двадцать. Стояла такая же духота, когда не успеваешь вытирать пот.

На мне был рюкзак, купленный в секонд-хенде еще в школьные годы после долгих терзаний с выбором. Большой, чертовски прочный, он и сейчас служит мне верой и правдой. В рюкзаке лежало с десятков книг, с которыми не хотелось расставаться ни на минуту, хотя куда проще было бы отправить их на новую квартиру вместе с остальными вещами. Но эти книги служили своего рода талисманом, оберегавшим меня от страха перед новой жизнью. И вот на дворе 2008-й год. Мне уже тридцать. Живу ли я той жизнью, которая представлялась мне тогда, десять лет назад? Вряд ли. То, что я пишу, все так же никто не читает (в мой пыльный блог на задворках интернета за день заходит от силы пара человек). До печати и до издания так ни разу и не дошло. У меня не то что читателей, даже друзей не появилось. Я живу все в том же доме с обшарпанными стенами, в окна которого нещадно бьет послеполуденное солнце, все так же работаю дни напролет за какие-то сто с небольшим тысяч в месяц, все так же пишу и пишу, непонятно для кого и зачем. Моя жизнь напоминает полку в старом книжном магазине, на которой все еще

пылятся тома, давным-давно закупленные прежним хозяином, и единственное изменение — то, что мое тело стало старше на десять лет.

Я снова глянула на часы: четверть первого. До места встречи я добралась на пятнадцать минут раньше, чем нужно, и, прислонившись к толстой прохладной колонне, стала наблюдать за людьми. Вот сквозь бесконечный поток голосов и звуков в поле моего зрения попадает большое семейство; они бегут справа налево, волоча за собой огромные чемоданы. Вот мать тащит за руку маленького сына с несоразмерно большой флягой на поясе. Где-то заливается плачем младенец, куда-то торопится молодая пара, оба накрашены и сверкают белоснежными улыбками.

Я проверила телефон: ни сообщения, ни звонка от Макико нет. Значит, они благополучно сели в нужный скоростной поезд в Осаке и уже минут через пять будут здесь. Мы договорились встретиться тут, у северного выхода в сторону Императорского дворца. Конечно, я им подробно все объяснила и даже карту послала, но все равно немного волновалась. На всякий случай я проверила, не перепутала ли дату. Двадцатое августа, все правильно. Мы так и условились: двадцатое августа, Токийский вокзал, северный выход в сторону Императорского дворца, половина первого.

О

Значит, так. Я тут узнала, что слово «сперматозоид» происходит аж из древнегреческого. А для яйцеклетки в Древней Греции, получается, слова не нашлось? Как-то нечестно. Короче, это главное, что я сегодня выяснила. Сначала я пробовала ходить в школьную библиотеку, но там какие-то замороженные правила по выдаче книг. И вообще книг там мало, тесно, темно, и все время кто-нибудь норовит подсмотреть, что я читаю, — приходится прятать. В общем, теперь я стараюсь ходить в нормальную

библиотеку. Там можно посидеть за компьютером, например, и не так стремно, как в школе. В школе все как-то тупо. Да, я знаю, вот так писать, что там все тупо, это тоже тупо. А, ладно. В школе хотя бы все разруливается само, без моего участия, так что это ничего. Но вот дома так не получается. Это два разных мира. Здорово, что я могу писать. Это можно делать где угодно, были бы ручка и бумага. К тому же это бесплатно. Я могу написать все, что только захочу, вообще все. Такое счастье! Например, сейчас мне хочется написать «бесит». Нет, не так. Заглавными буквами. БЕСИТ, БЕСИТ, БЕСИТ.

Мидорико

Макико, которую я встречала сегодня из Осаки, — это моя старшая сестра. Ей тридцать девять лет, а ее дочери Мидорико — скоро двенадцать. Дочку она воспитывала одна.

Девочка родилась, когда мне исполнилось восемнадцать, и некоторое время мы жили все вместе в тесной квартирке в Осаке. Дело в том, что Макико рассталась с мужем еще до рождения дочери, и помочь ей было больше некому, ни с уходом за ребенком, ни деньгами. И мы решили, что чем бегать туда-сюда, лучше съехаться. Тогда отец к Мидорико ни разу не приезжал, да и потом, насколько мне известно, они не встречались. Думаю, она с ним даже не знакома.

Я до сих пор толком не знаю, почему Макико разошлась с мужем. Отлично помню, что много разговаривала с ней по поводу развода и теперь ее бывшего; помню, что думала, как же это плохо, но как все это произошло — не помню, хоть убей. Бывший муж Макико родился и вырос в Токио, потом перешел на работу в Осаке, где и познакомился с Макико. Она забеременела почти сразу. Помню, муж называл ее «дорогая», на столичный манер. В Осаке никто так не говорил.

Выросли мы с ней в квартире на третьем этаже дома в портовом районе у моря. Первый этаж занимала пивная. Квартира была крошечная: две комнаты, одна другой меньше. Оттуда до моря было рукой подать. В детстве я могла часами смотреть на свинцовые глыбы волн, которые с оглушительным плеском разбивались о серые волнорезы. Сбитое от ярости дыхание моря разлеталось по всему городку и ощущалось в любой его точке. По вечерам на улицах появлялись шумные пьяные компании. Помню, я часто видела людей, присевших на обочине дороги или за домами. Драки и шумные разборательства считались обычным делом; один раз прямо передо мной приземлился сброшенный кем-то сверху велосипед. Бродячие собаки неустанно щенились, щенки подрастали и тоже обзаводились потомством. Но там мы прожили всего несколько лет. Вскоре после того, как я пошла в начальную школу, отец исчез, а мы с мамой и Макико переехали к бабушке в муниципальную квартиру.

С отцом я провела меньше семи лет. Даже в детстве я замечала, какой он маленький. У него было тело подростка. Он никогда не работал, только валялся дома дни и ночи напролет. Бабушка Коми — наша бабушка с маминой стороны — презирала зятя, испортившего дочери жизнь, и за глаза называла кротом. Целыми днями в пожелтевшей майке и кальсонах он валялся на футоне, который никогда не сворачивали. Он никогда не выключал телевизор, даже когда все ложились спать. Рядом стояла пустая пивная банка, заменявшая ему пепельницу, и толстая стопка журналов. Курил он непрерывно, стряхивая в банку пепел, так что квартира провоняла табаком. Ему было настолько лень напрягаться, что на нас он смотрел в зеркальце, не оборачиваясь. В хорошем настроении он мог и пошутить, но обычно был неразговорчив. Не помню, чтобы он хоть раз поиграл с нами или куда-нибудь нас сводил. Зато стоило ему впасть в дурное настроение, как он начинал орать, иногда, напившись, бил маму.

А бывало, так расходился, что добирался и до нас с Макико. Мы все его страшно боялись.

Однажды я вернулась из школы и поняла, что отца дома нет.

Квартира была все та же, тесная и сумрачная, с грудями грязного белья на полу, но в отсутствие отца она будто преобразилась. Я сделала вдох и шагнула на середину комнаты. Попробовала голос. Сперва он звучал тихо — непривычный, точно чужой. Я попробовала еще раз — и из горла хлынули внезапные, глубоко запрятанные слова. Тут никого нет! Никто меня не остановит! Я пошевелила руками, ногами, потом начала танцевать, и с каждым движением тело становилось все легче. Я чувствовала, как изнутри меня наполняет сила. Пыль на телевизоре, грязная посуда в раковине, наклейки на посудном шкафчике, черточки на дверном косяке, которыми мама отмечала наш с Макико рост. Все это я видела уже много-много раз, но теперь оно сверкало, будто посыпанное волшебным порошком.

Отойдя от первого восторга, я вновь приуныла. Ведь я прекрасно понимала: все это ненадолго. Просто отец в кои-то веки вышел из дома по делам, вот и все. Я сняла ранец, села в уголке комнаты, как обычно, и вздохнула.

Но отец в тот день не вернулся. И на другой, и на третий. Взамен к нам стали наведываться какие-то мужчины: раз за разом маме приходилось выдумывать новые способы, чтобы их выпроводить. Иногда мы притворялись, что нас нет дома, и на следующее утро находили около входной двери сигаретные окурки. Спустя месяц после исчезновения отца мама взяла его футон и белье, все это время лежавшее на полу, вытащила из комнаты и затолкала в ванну, которой мы перестали пользоваться после поломки водонагревателя. В тесной заплесневелой ванной этот засаленный и прокуренный футон казался еще желтее, чем был. Мать посмотрела на него долгим взглядом и, подпрыгнув, со всей силы пнула его ногой. А еще через месяц мы с Макико проснулись посреди ночи от ее

взволнованного голоса: «Быстро, вставайте». Даже не видя ее лица, мы поняли, что все серьезно. Мама посадила нас в такси, и больше мы этой квартиры не видели.

Спросонья я никак не могла понять, ни почему нам нужно уезжать, ни куда мы едем. Спустя какое-то время я попыталась выяснить у мамы, что происходит, но тема отца считалась запретной, и я так ничего и не узнала. Дальше мы ехали молча. Поездка тянулась целую вечность, но, когда машина остановилась, я поняла, что уехали мы не так уж далеко. Перед нами был дом моей любимой бабушки Коми, а жила она в том же городе, где-то в часе езды на поезде.

В машине меня укачало и в конце концов вырвало в подставленную мамой косметичку. Впрочем, в желудке толком ничего не было. Вытирая рукой тянущуюся изо рта кисловатую слюну, ощущая, как мама гладит меня по спине, я думала об одном — о своем ранце. Учебники на вторник. Тетрадки. Наклейки. На самом дне — альбом, а в нем рисунок замка, который я наконец закончила накануне вечером. В боковом кармане — губная гармоника. Снаружи пристегнут мешочек с обеденными принадлежностями. А еще там, в ранце, совсем новый пенал с моими любимыми карандашами, фломастерами, ароматическими шариками, ластиком. И блестящие колпачки для карандашей... Я обожала свой ранец и, когда ложилась спать, всегда клала его рядом. Когда шла с ним по улице, на всякий случай крепко сжимала руками лямки. Он был для меня всем. Все равно как собственная комната, которая всегда при мне.

А теперь он остался в квартире. И не только он — моя любимая белая толстовка, куклы, книжки, миска — все это осталось там, а мы неслись в такси сквозь ночную тьму. Я думала о том, что мы уже вряд ли когда-нибудь вернемся. Что я больше никогда не увижу свой ранец. Никогда не буду делать домашние задания, положив пенал точно на край столика котацу. Никогда не буду точить за этим столиком карандаши, никогда не буду читать книжку, прислонившись

к шероховатой стене. От этих мыслей мне было не по себе, словно часть мозга уснула. Пошевеливнуть рукой или ногой не было сил. Может, я — это не я? А настоящая я скоро проснется под своим одеялом и пойдет в школу, у нее впереди — самый обычный день. Вчерашняя я, укладываясь спать, не могла даже подумать, что два часа спустя мы с мамой и Макико, бросив все, будем мчаться в такси по темной Осаке, понимая, что никогда не вернемся обратно.

Прижавшись к окну и глядя в ночную мглу, я думала: а что, если та, вчерашняя я, все так же сплю... то есть спит у себя дома и ничего не подозревает? Что она будет делать утром, когда проснется и поймет, что меня там уже нет? Мне вдруг стало страшно, и я покрепче прижалась к плечу Макико. Наконец меня стало клонить в сон. Из-под опускающихся век я различала только зеленые светящиеся, беззвучно сменяющиеся цифры. Чем дальше мы уносились от дома, тем больше становилось число на счетчике...

Мы сбежали и поселились у бабушки Коми, но длилось это недолго. Мама умерла, когда мне было тринадцать. Бабушка — два года спустя.

Мы с Макико остались вдвоем и работали как сумасшедшие, чтобы не оказаться на улице. Спасло нас то, что за домашним алтарем мы нашли бабушкину записку — восемьдесят тысяч иен. С того момента, как я начала учиться в средней школе, а у мамы нашли рак груди, и до того, как перешла в старшую, а бабушка умерла от рака легких, я почти ничего не помню. Я была слишком занята работой.

Если что и осталось в моей памяти, так это завод. Я подрабатывала там на всех каникулах: весенних, летних и зимних. Чтобы меня туда взяли, пришлось приписать себе несколько лет. С потолка там свисали паяльники, откуда-то доносились хлопки, будто взрываются фейерверки, на полу высились горы картонных коробок. И еще, конечно, я помню маленький бар, которым заведовала мамина подруга. Я бывала там с самого детства, чуть ли не с шести лет. Днем мама подрабатывала в других местах, а по ночам — хостес

в этом баре. Макико устроилась в тот же бар посудомойкой, когда пошла в старшую школу. Потом и я потихоньку стала появляться на кухне — делать напитки и простые закуски, наблюдая, как мама развлекает подвыпивших клиентов. Макико, помимо бара, брала смены в ресторане якинику, причем столько, что при смешной ставке в шестьсот иен в час однажды заработала за месяц аж сто двадцать тысяч (в ресторане этому факту еще долго поражались). Через несколько лет после окончания школы ее взяли в штат, и она оставалась там, пока ресторан не прогорел. Потом забеременела и родила Мидорико. Подрабатывала то тут, то там, и сейчас пять дней, точнее, пять вечеров в неделю работает в баре. Жизнь Макико словно повторяет мамину. Жизнь матери-одиночки, которая работала до изнеможения и в конце концов сгорела от болезни.

Прошло уже минут десять с условленного времени, но Макико с дочерью так и не появились. Я попробовала позвонить, но Макико не брала трубку. Сообщений тоже не было. Может, они с Мидорико заблудились? Я выждала пять минут и собралась позвонить еще раз, но тут телефон пискнул, уведомляя о новом сообщении.

«Не знаю, куда выходить! Мы тут, на платформе».

Посмотрев на табло, куда должен был прибыть их поезд, я купила входной билет, прошла через турникет и поднялась по эскалатору. Наверху была просто баня, на лице у меня вновь выступил пот. Лавируя среди пассажиров, ожидающих поезда или столпившихся у киосков, я шла по платформе, высматривая своих гостей. Вот и они — на лавочке возле третьего вагона.

— Привет! Давно не виделись! — радостно заулыбалась сестра, заметив меня, и я тоже улыбнулась в ответ.

Окинув взглядом племянницу, сидевшую рядом, я удивилась, до чего она выросла: девочка казалась в два раза выше, чем в прошлый раз, когда я ее видела.

— Ничего себе ноги отрастила, Мидорико! — не удержалась я.

Мидорико, с волосами, собранными в хвост, одетая в темно-синюю футболку с круглым вырезом и шорты, сидела на самом краешке скамьи. Может быть, поэтому ее ноги показались мне неестественно длинными. Я легонько хлопнула ее по коленке. Мидорико смущенно взглянула на меня, но тут вмешалась Макико со своими «да-да, я сама в шоке, она так вымахала в последнее время!», и девочка сразу же недовольно отвела глаза, прижала к себе рюкзак и откинулась назад. Макико кивнула в ее сторону, будто ища у меня сочувствия, удивленно подняла брови и пожалала плечами.

Да, точно, ведь Мидорико не разговаривает с матерью уже полгода.

Что произошло, я не знаю. По словам Макико, та просто взяла и перестала реагировать на любые ее вопросы или попытки заговорить. Сначала Макико переживала, что это депрессия, но никаких других странностей в поведении Мидорико не было. С аппетитом все в порядке, она продолжала ходить в школу и разговаривала там с друзьями и учителями. А дома, с матерью, — нет. Явно намеренно. Макико не могла понять, в чем дело, и осторожно пыталась выяснить это у дочери, но безрезультатно.

— Знаешь, мы не разговариваем, — со вздохом сообщила мне Макико, позвонив, еще когда все это начиналось. — Только ручка и блокнот.

— В смысле?

— В смысле, она не хочет со мной разговаривать! Ну понимаешь, ртом! Я-то, конечно, болтаю без умолку. А она только напишет у себя в блокноте что-нибудь — и мне показывает. А говорить со мной не желает... Давно уже. Месяц или вроде того...